



Александр Дюма

Тысяча и один призрак

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=123521
Тысяча и один призрак: Эксмо; Москва; 2007
ISBN 978-5-699-23851-4*

Аннотация

«Тысяча и один призрак» – сборник мистических историй о вампирах и приведениях, о связи людей с потусторонними силами, о шестом чувстве, которое дает знать о себе в минуты смертельной опасности.

Бесспорно, что Дюма – прекрасный рассказчик, и о чем бы он ни написал, мы чувствуем, чем живут его герои, ощущаем окружающую их эпоху, заражаемся полетом фантазии автора.

Содержание

Вместо предисловия	4
I. Улица Дианы в Фонтенэ	7
II. Переулок Сержан	11
III. Протокол	15
IV. Дом Скаррона	20
V. Пощечина Шарлотте Корде	25
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Александр Дюма

Тысяча и один призрак

Вместо предисловия

Мой милый друг, вы часто говорили мне в те вечера, которые стали так редки, когда каждый говорил непринужденно, высказывал свои заветные мечты или фантазировал, или черпал что-то из воспоминаний прошлого, – вы часто говорили мне, что после Шехерезады и Подье я самый интересный рассказчик, которого вы слышали.

Сегодня вы пишете мне, что в ожидании длинного романа, какой я обыкновенно пишу и который охватывает целое столетие, вы хотели бы получить от меня рассказы, – два, четыре, шесть томов рассказов, этих бедных цветов из моего сада, которые вы хотели бы издать среди политических событий момента, между процессом Буржа и майскими выборами.

Увы, мой друг, мы живем в печальное время, и мои рассказы далеко не веселы. Позвольте мне только уйти из реального мира и искать вдохновения для моих рассказов в мире фантазии. Увы! Я очень опасаюсь, что все те, кто умственно выше других, у кого больше поэзии и мечтаний, все идут по моим стопам, то есть стремятся к идеалу, – единственное прибежище, предоставленное нам Богом, чтобы уйти из действительности.

Вот передо мной раскрыты пятьдесят томов по истории Регентства, которую я заканчиваю, и я прошу, если вы будете упоминать о ней, не советуйте матерям давать эту книгу своим дочерям. Итак, вот чем я занят! В то время как я пишу вам, я пробегаю глазами страницу мемуаров маркиза д'Аржансона *«О разговорах в былое время и теперь»* и читаю там следующие слова: «Я уверен, что в то время, когда Отель де Рамбулье задавал тон обществу, умели лучше слушать и лучше рассуждать. Все старались воспитывать свой вкус и ум; я встречал еще стариков, владевших разговором при дворе, где я бывал. Они умели точно выражаться, слог их был энергичен и изящен; они употребляли антитезы и эпитеты, усилившие смысл; прибегали к глубокомыслию без педантизма и остроумию без злобы».

Сто лет прошло с тех пор, как маркиз д'Аржансон написал эти слова, которые я выпиываю из его книги. В то время, когда он их писал, он был одних лет с нами, и мы, мой друг, можем сказать вместе с ним: мы знавали стариков, которые – увы! – были тем, чем мы не можем быть, людьми из хорошего общества.

Мы видели их, но сыновья наши их не увидят. Итак, хотя мы немного значим, но все же больше, чем наши сыновья.

Правда, с каждым днем мы подвигаемся к свободе, равенству и братству, – к тем трем великим словам, которые революция 93-го года выпустила в современное общество, как тигра, льва или медведя, одетых в шкуры ягнят; пустые, увы, слова, которые можно было читать в дыму июня на наших общественных памятниках, пробитых пулями.

Я подражаю другим; я следую за движением. Сохрани меня Боже проповедовать застой! Застой – смерть. Я иду, как те люди, о которых Данте говорит, что хотя ноги их идут вперед, но головы оборачиваются к пяткам.

Я настойчиво ищу – и особенно жалею, что приходится искать в прошлом, – это общество; оно исчезает, оно растворяется, как одно из тех привидений, о которых я собираюсь рассказать.

Я ищу общество, которое создает изящество, галантность; оно создавало жизнь, которой стоило жить (прошу извинения за это выражение, я не член Академии и могу себе это позволить). Умерло ли это общество или мы убили его?

Помню, я был еще ребенком, когда мы с отцом побывали у мадам де Монтессон. То была важная дама, дама прошлого столетия. Она вышла замуж шестьдесят лет назад за герцога Орлеанского, деда короля Луи-Филиппа. Тогда ей было восемьдесят лет. Она жила в богатом отеле на шоссе д'Антен. Наполеон выдавал ей пенсию в сто тысяч экю.

Знаете, почему давалась ей пенсия, занесенная в Красную книгу, преемником Людовика XVI? Нет? Прекрасно. Мадам де Монтессон получала пенсию в сто тысяч экю *за то, что сохранила в своем салоне традиции высшего общества времен Людовика XIV и Людовика XV*. Ровно половину этой суммы платит теперь Палата ее племяннику, чтобы он заставил Францию забыть то, что дядя его желал, чтобы она помнила.

Вы не поверите, мой милый друг, но вот это слово, которое я по неосторожности произнес: *«Палата»*, опять возвращает меня к мемуарам маркиза д'Аржансона.

Почему? Сейчас узнаете.

«Жалуются, – говорит он, – что в наше время во Франции не умеют вести беседу. Я знаю причину этого. Наши современники утратили способность слушать. Слушают вполуха или совсем не слушают. Я сделал такое наблюдение в лучшем обществе, в котором мне приходилось бывать».

Ну, мой милый друг, какое же лучшее общество можно посещать в наше время? Несомненно, то, которое восемь миллионов избирателей сочли достойным представлять интересы, мнения, дух Франции. Это Палата, конечно.

И что же? Войдите случайно в Палату в какой вздумается день и час. Держу пари сто против одного, что вы увидите на трибуне лицо, которое говорит, а на скамьях от пятисот до шестисот лиц, которые не слушают, а постоянно прерывают.

То, что я говорю, настолько верно, что в конституции 1848 года имеется даже специальная статья, которая запрещает прерывать речи.

Сосчитайте также количество пощечин и ударов шпаги, нанесенных в Палате со времени ее открытия, – бесчисленное количество!

Конечно, все во имя свободы, равенства и братства.

Итак, мой милый друг, как я вам сказал, я сожалею о многом, не правда ли? Хотя я уже прожил почти полжизни, из того, что осталось в прошлом, я вместе с маркизом д'Аржансоном, жившим сто лет тому назад, жалею об исчезновении галантности.

Однако во времена маркиза д'Аржансона никому не приходило в голову называться *гражданином*. Подумайте, если бы сказать маркизу д'Аржансону, когда он писал, например, следующие слова:

«Вот до чего мы дожили во Франции: занавес опустили; представление кончилось; раздаются только свистки. Скоро исчезнут в обществе изящные рассказчики, искусство, живопись, дворцы, останутся везде и повсюду одни завистники».

Что, если бы тогда ему сказать, когда он писал эти слова, что мы дойдем до того, что будем, как я, например, завидовать его времени? Как бы удивился бедный маркиз д'Аржансон! И что же я делаю? Я живу среди мертвецов – отчасти с изгнанниками. Я стараюсь воскресить не существующие уже общества, исчезнувших людей, от которых пахло амброй, а не сигарами, которые дрались на шпагах, а не на кулаках.

И вас должно удивить, мой друг, что, когда я начинаю беседовать, я говорю на том языке, на котором теперь не говорят. Вот почему вы находите меня занимательным рассказчиком. Вот почему мой голос, эхо прошлого, еще слушают в настоящее время, когда так мало и неохотно слушают.

В конце концов мы, подобно тем венецианцам, которых в восемнадцатом столетии законы против роскоши заставляли носить сукно и грубые ткани, любим рассматривать шелк, бархат и золотую парчу, в которые королевская власть рядила наших отцов.

Ваш Александр Дюма

I. Улица Дианы в Фонтенэ

1 сентября 1831 года мой старинный приятель, начальник бюро королевских имуществ, пригласил меня в Фонтенэ для открытия с его сыном охоты.

В то время я очень любил охоту и как страстный охотник придавал большое значение тому, в какой местности каждый год ее начинать.

Обыкновенно мы отправлялись к одному фермеру, вернее, другу моего шурина; у него я впервые убил зайца и посвятил себя науке Немврода и Эльзеара Блэза. Ферма находилась между лесами Компьена и Вилье Коттере, в полумиле от прелестной деревушки Мориенваль и в миле от величественных развалин Пьерфона.

Две или три тысячи десятин земли, принадлежащие ферме, представляют собой обширную равнину, окруженную лесом; в середине расстилается красивая долина, и среди зеленых лугов и пышной листвы разнообразных деревьев виднеются дома, наполовину ею скрытые; от них поднимаются синеватые клубы дыма.

Сначала дым стелется, а затем вертикально поднимается к небу и, достигнув верхних слоев воздуха, расходится по направлению ветра наподобие верхушек пальм.

Дичь из обоих лесов спускается, как на нейтральную почву, на эту равнину и на два склона долины.

На равнине Бассдар водится всякая дичь: вдоль леса – козы и фазаны; зайцы – на площадках, кролики – в расселинах, куропатки – около фермы. Господин Моке (так звали нашего друга) нас ждал; мы охотились весь день и на другой день возвращались в Париж в два часа; четыре или пять охотников убивали до ста пятидесяти экземпляров дичи, и наш хозяин ни за что не хотел брать себе ни одного.

В этом году я изменил господину Моке, уступив просьбам моего старого сослуживца и соблазнившись пейзажем, присланным его сыном, выдающим себя учеником римской школы. Пейзаж представлял собой равнину Фонтенэ, засеянную хлебом и заросшую люцерной, изобилующую зайцами и куропатками.

Я никогда не был в Фонтенэ: никто так мало не знает окрестности Парижа, как я. Я не выезжал ближе пяти-или шестисот миль от Парижа. Всякая перемена места представляла для меня интерес.

В Фонтенэ я уезжал в шесть часов вечера, высунув голову в окно, по своему обыкновению; я проехал заставу Анфер, оставил слева улицу Том-Иссуар и поехал по Орлеанской дороге.

Известно, что Иссуар – знаменитый разбойник, который во времена Юлиана брал выкуп с путешественников, отправлявшихся в Лутецию. Его, кажется, повесили и похоронили в том месте, которое названо его именем.

Равнина около Малого Монружа имеет очень странный вид. Среди обработанных полей, среди грядок морковки и свеклы возвышаются каменоломни белого камня, а над ними зубчатое колесо. По окружности колеса находятся деревянные перекладки, и человек попеременно опирается на них ногой. Это – работа белки: рабочий, по-видимому, затрачивает немалые усилия, а в действительности не трогается с места; на вал колеса намотана веревка, и этим движением она разматывается и вытаскивает на поверхность камень, высеченный в каменоломне.

Крюк вытаскивает камень из каменоломни и перекачивает его на назначенное место. Канат спускается вглубь и снова тащит камень и дает передышку этому современному Иксиону. Затем его предупреждают, что снова камень ждет его усилий, чтобы покинуть родную каменоломню, и вновь все повторяется.

До вечера человек проходит десять миль, не меняя места; если бы при каждом шаге, который он совершил по перекладине, он поднимался вверх, то через двадцать три года он достиг бы Луны.

В то время, когда я проезжал по равнине, отделявшей Малый Монруж от Большого, особенно вечером, окрестный пейзаж с этими бесконечными двигающимися колесами на фоне багряного заката солнца казался фантастическим. Пейзаж напоминал гравюру Гойи, где люди в полумраке вырывают зубы у повешенных.

Эти каменоломни в пятьдесят и шестьдесят футов длины и в шесть или восемь высоты, – это будущий Париж, который выкапывают из земли. Каменоломни эти расширяются и увеличиваются день ото дня. Это как бы продолжение катакомб, из которых вырос старый Париж. Это – предместья подземного города; они все расширяются и увеличиваются в окружности. Когда вы идете по равнине Монруж, вы идете над пропастями. Местами образуется провал, миниатюрная долина, складка почвы – это плохая каменоломня под вами: треснул ее гипсовый потолок, который был над трещиной, вода протекла в пещеру, просочилась в почву, произошли подвижки почвы – оползни.

Если вы не осведомлены, что этот красивый зеленый пласт земли ни на чем не держится, и если вы станете на это место над провалом, то можете провалиться, как в Монтанвере между двумя ледяными горами.

Обитатели подземных галерей отличаются характером и физиономией и ведут особый образ жизни. Они живут в потемках, у них инстинкты ночных животных, они молчаливы и жестоки. Часто бывают несчастные случаи: то спица обломается, то веревка оборвется и задавят человека. На поверхности земли считают это несчастным случаем, но на тридцатифутовой глубине знают, что это преступление.

Во время восстания люди, о которых мы говорим, почти всегда принимают в нем участие.

У заставы Анфер говорят: «Вот идут каменотесы из Монружа!» – и жители соседних улиц качают головой и запирают двери.

Вот на что я смотрел, вот что я видел в сентябрьские сумерки, в промежутке между днем и ночью. Очевидно, никто из моих спутников не видел того, что видел я. И во всем так: многие смотрят, да мало кто видит.

В Фонтенэ мы приехали в половине девятого. Нас ждал прекрасный ужин, а после ужина прогулка по саду.

Если Сорренто – царство апельсиновых деревьев, то Фонтенэ – царство роз. В каждом доме по стене выются розы. Достигая известной высоты, розы распускаются гигантским веером, наполняя воздух благоуханиями, а когда поднимается ветер, сверху падает дождь розовых лепестков, как падал он в праздник, который устраивал сам Бог.

Дойдя до конца сада, можно было полюбоваться величественным пейзажем, если бы это было днем. Огоньки обозначали деревни Ссо, Банье, Шатильон и Монруж; вдали тянулась красноватая линия, откуда исходил шум, напоминавший дыхание Левиафана, – то было дыхание Парижа.

Нас насильно отправили спать, словно детей, хотя мы с удовольствием дождались бы зари под звездным небом, вдыхая благоухания, доносимые ветром.

Охота началась в пять часов утра. Руководил ею сын хозяина; он сулил нам чудеса и, надо признаться, расхваливал обилие дичи в этой местности с необыкновенной настойчивостью.

В двенадцать часов мы увидели зайца и четырех куропаток. Мой товарищ справа промахнулся, стреляя в зайца, а товарищ слева промахнулся, стреляя в куропатку; из трех оставшихся я застрелил двух.

В Брассуаре к двенадцати часам я бы уже отправил на ферму четырех зайцев и штук двадцать куропаток.

Я люблю охоту и ненавижу прогулки по полям. Под предлогом, что желаю осмотреть поле люцерны, расположенное слева, я свернул.

Поле привлекло меня потому, что я сообразил: шагая по низкой дороге по направлению к Ссо, я скроюсь от охотников и дойду до Фонтенэ.

Я не ошибся. На колокольне пробило час, когда я добрался до первых домов деревни. Я шел вдоль стены, окружавшей, как мне казалось, превосходную виллу, как вдруг там, где улица Дианы пересекается с Большой, ко мне со стороны церкви направился человек странной наружности. Я остановился и, вероятно, руководствуясь инстинктом самосохранения, стал заряжать ружье.

Человек, бледный, с взъерошенными волосами, с глазами, вылезающими из орбит, в неопрятной одежде, с окровавленными руками, прошел мимо, не замечая меня. Взор его был устремлен вдаль и тускл, хрипкое дыхание указывало на то, что он был охвачен ужасом.

На перекрестке он свернул с Большой улицы на улицу Дианы, туда выходила вилла, вдоль стены которой я шел уже семь или восемь минут. Дверь, на которую я внезапно взглянул, была выкрашена в зеленый цвет, и на ней стоял номер «2». Рука человека протянулась к звонку раньше, чем он мог до него дотянуться; наконец он схватил звонок, сильно дернул его и сейчас же сел на ступеньки у двери. Он сидел неподвижно, опустив руки и склонив голову на грудь.

Я вернулся. Я понял: человек этот стал участником какой-то неизвестной и тяжелой драмы.

За ним и по обеим сторонам улицы стояли люди. Он производил на них такое же впечатление, как на меня, и они вышли из своих домов и смотрели на него с таким же удивлением, как и я.

На звонок вышла женщина лет сорока или сорока пяти.

– А, это вы, Жакмен, – сказала она. – Что вы здесь делаете?

– Господин мэр дома? – спросил глухим голосом человек, к которому она обращалась.

– Да.

– Ну, тетка Антуан, подите скажите ему, что я убил мою жену и явился сюда, чтобы меня арестовали.

Тетка Антуан вскрикнула, и те, кто расслышал страшное признание, вскрикнули вместе с нею.

Я сам отступил назад и, наткнувшись на ствол липы, оперся на него. Все, кто был поблизости, оставались неподвижны.

После своего рокового признания убийца как бы в изнеможении соскользнул со ступеньки на землю.

Тетка Антуан исчезла, оставив калитку открытой. Очевидно, она пошла передать поручение Жакмена своему хозяину.

Через пять минут появился тот, за кем она пошла.

Я и теперь вижу перед собой ту улицу.

Жакмен сполз на землю, как я уже сказал. Мэр Фонтенэ, которого позвала тетка Антуан, стоял около него, загораживая его своей высокой фигурой. У калитки топтались еще двое, о которых я еще буду говорить подробнее. Я опирался на ствол липы на Большой улице и смотрел на улицу Дианы. Налево находилась группа, состоявшая из мужчины, женщины и ребенка; последний плакал, и мать взяла его на руки. За этой группой из первого этажа высовывал голову булочник и, обращаясь к мальчику, стоявшему внизу, спрашивал его: тот, что пробежал, не Жакмен ли каменотес? Наконец на пороге появился кузнец, освещаемый сзади пламенем наковальни, на которой подмастерье продолжал раздувать мехи.

Вот что происходило на Большой улице.

На улице Дианы не было никого, кроме главной группы. Лишь в конце ее появились два жандарма, совершавшие обход по равнине в целях проверки прав на ношение оружия, и, не рассчитывая на предстоящее им дело, медленно приближались к нам.

Пробило час с четвертью.

II. Переулок Сержан

Свои первые слова мэр Ледрю произнес одновременно с последним ударом часов.

– Жакмен, – сказал он, – надеюсь, тетка Антуан сошла с ума: она передала мне по твоему поручению, что твоя жена умерла и что это ты ее убил!

– Это чистая правда, господин мэр, – отвечал Жакмен. – Меня следует отвести в тюрьму и скорее судить.

Произнеся эти слова, он попытался встать, опираясь о ступеньку, но после сделанного усилия упал: у него подкосились ноги.

– Полно! Ты с ума сошел! – сказал мэр.

– Посмотрите на мои руки, – отвечал тот, поднимая окровавленные руки со скрюченными, похожими на когти пальцами.

Действительно, левая рука его была красна до кисти, правая – до локтя. Кроме того, на правой руке струйка крови текла вдоль большого пальца: вероятно, жертва в борьбе укусила своего убийцу.

В это время подъехали два жандарма. Они остановились в десяти шагах от главного действующего лица этой сцены и смотрели на него с высоты, восседая на своих лошадях.

Мэр подал им знак. Они сошли с лошадей, бросили вожжи мальчику в полицейской шапке, по-видимому, сыну кого-то из стоявших тут же. Затем подошли к Жакмену и подняли его под руки.

Он подчинился без сопротивления и с апатией человека, ум которого сосредоточен на одной мысли.

В это время явились полицейский комиссар и доктор.

– А! Пожалуйте сюда, господин Робер! А, пожалуйста сюда, господин Кузен! – сказал мэр.

Робер был доктор, Кузен – полицейский комиссар.

– Пожалуйте, я хотел уже послать за вами.

– Ну! В чем дело? – спросил доктор с самым веселым видом. – Кажется, убийство?

Жакмен ничего не отвечал.

– Ну что, Жакмен, – продолжал доктор, – правда, что вы убили вашу жену?

Жакмен молчал.

– Он, по крайней мере, сам сознался, – сказал мэр. – Однако, может быть, это галлюцинация, и он не совершил преступления.

– Жакмен, – сказал полицейский комиссар, – отвечайте. Правда, что вы убили свою жену?

То же молчание.

– Во всяком случае, мы увидим, – сказал доктор Робер. – Вы живете в переулке Сержан?

– Да, – ответили два жандарма.

– Я не пойду туда! Я не пойду туда, – закричал Жакмен, вырываясь из рук жандармов быстрым движением, как бы желая убежать, и убежал бы раньше, чем кто-либо вздумал его преследовать.

– Отчего вы не хотите туда идти? – спросил мэр.

– Зачем идти, я признаюсь во всем: я ее убил. Я убил ее большой шпагой с двумя лезвиями, которую взял в прошлом году в Артиллерийском музее. Мне нечего там делать, ведите меня в тюрьму!

Доктор и мэр переглянулись.

– Мой друг, – сказал полицейский комиссар, который, как и Ледрю, полагал, что Жакмен находится в состоянии временного помешательства, – вам необходимо пойти туда, чтобы направить правосудие в надлежащее русло.

– А зачем направлять правосудие? – отвечал Жакмен. – Вы найдете тело в погребке, а около тела, в мешке от гипса, голову, а меня отведите в тюрьму.

– Вы должны пойти, – настаивал полицейский комиссар.

– О боже мой! Боже мой! – воскликнул Жакмен в ужасе. – О боже мой! Боже мой! Если бы я знал...

– Ну, что бы ты сделал? – спросил полицейский комиссар.

– Я бы убил себя!

Ледрю покачал головой и, посмотрев на полицейского комиссара, хотел, казалось, сказать ему: тут что-то неладно.

– Друг мой, – сказал он убийце, – пожалуйста, объясни мне, в чем дело?

– Да, я скажу вам все, что вы хотите, господин Ледрю, спрашивайте.

– Как это случилось? Как это у тебя хватило духу совершить убийство, а теперь ты не можешь пойти взглянуть на свою жертву? Что-то случилось, о чем ты не сказал нам?

– О да, нечто ужасное!

– Ну, пожалуйста, расскажи.

– О нет, вы не поверите, вы скажете, что я сумасшедший.

– Полно! Скажи мне: что случилось?

– Я скажу, но только вам.

Жакмен подошел к Ледрю.

Два жандарма хотели удержать его, но мэр сделал знак, и они оставили арестованного в покое.

К тому же если бы он и пожелал скрыться, то это было уже невозможно: половина населения Фонтенэ запрудила улицу Дианы и Большую.

Жакмен, как я уже сказал, приблизился к самому уху Ледрю.

– Поверите ли вы, – спросил он вполголоса, – поверите ли, чтобы голова, отделенная от туловища, могла говорить?

Ледрю испустил восклицание, похожее на крик ужаса, и заметно побледнел.

– Вы поверите, скажите? – повторил Жакмен.

Ледрю овладел собою.

– Да, – сказал он, – я верю.

– Да-да, она говорила...

– Кто?

– Голова... голова Жанны!

– Ты говоришь?..

– Я говорю, что ее глаза были открыты и она шевелила губами. Я говорю, что она смотрела на меня. Я говорю, что, глядя на меня, она сказала: «Негодяй...»

Произнося эти слова, которые он хотел сказать только Ледрю и которые прекрасно слышали все, Жакмен был ужасен.

– О, чудесно! – воскликнул, смеясь, доктор. – Она говорила! Отсеченная голова говорила! Ладно, ладно, ладно!

Жакмен повернулся к нему:

– Я же говорю вам!

– Ну, – сказал полицейский комиссар, – тем необходимее отправиться на место преступления. Жандармы, ведите арестованного!

Жакмен испустил крик и стал вырываться.

– Нет, нет, – кричал он, – можете изрубить меня на куски, а я туда не пойду!

– Пойдем, мой друг, – сказал Ледрю. – Если правда, что вы совершили страшное преступление, в котором вы себя обвиняете, то это будет искуплением. К тому же, – прибавил он тихо, – сопротивление бесполезно: если вы не пойдете добровольно, вас поведут силою.

– Ну, в таком случае, – сказал Жакмен, – я пойду, но пообещайте мне лишь одно, господин Ледрю...

– Что именно?

– Что все время, пока мы будем в погребке, вы не покинете меня.

– Хорошо.

– Вы позволите держать вас за руку?

– Да.

– Ну хорошо, – сказал он, – идемте! – И, вынув из кармана клетчатый платок, он вытер покрытый потом лоб.

Все отправились в переулок Сержан.

Впереди шли полицейский комиссар и доктор, за ними Жакмен и два жандарма. Следом шагали Ледрю и два человека, появившиеся у двери одновременно с ним. Затем двигалось, как бурный и шумный поток, все население, в том числе и я.

Через минуту ходьбы мы вступили в переулок Сержан. То был маленький переулок, отходивший налево от Большой улицы; вел он к полуразвалившимся воротам с калиткой, едва державшейся на скобе.

По первому впечатлению все было тихо в доме; у ворот цвел розовый куст, а на каменной скамье грелась на солнце толстая рыжая кошка.

Завидев людей и заслышав шум, кошка испугалась, бросилась бежать и скрылась в отдушине погреба.

Подойдя к упомянутой калитке, Жакмен остановился.

Жандармы хотели заставить его войти.

– Господин Ледрю, – сказал он, оборачиваясь, – господин Ледрю, вы обещали не покидать меня.

– Конечно! Я здесь, – ответил мэр.

– Вашу руку! Вашу руку! – И он зашатался.

Ледрю подошел, подал знак двум жандармам отпустить арестованного и протянул ему руку.

– Я ручаюсь за него, – сказал он.

В этот момент Ледрю был не мэром общины, карающим преступление, то был философ, исследующий область таинственного.

Только направлял его в этом странном исследовании убийца.

Первыми вошли доктор и полицейский комиссар, за ними Ледрю и Жакмен, затем два жандарма и некоторые привилегированные лица, в числе которых был и я благодаря моему знакомству с жандармами, для которых я уже не был чужим, потому что встретился с ними в долине и предъявил им разрешение на ношение оружия.

Перед остальными же, к крайнему их неудовольствию, дверь закрылась. Мы направились к двери маленького дома. Ничто не указывало на происшедшее здесь страшное событие, все было на месте: в алькове – постель, покрытая зеленой саржей; в изголовье – распятие из черного дерева, украшенное веткой вербы, засохшей с прошлой Пасхи, на камине – младенец Иисус из воска между двумя посеребренными подсвечниками в стиле Людовика XVI, на стене – четыре раскрашенные гравюры в рамках из черного дерева, на которых изображены четыре стороны света.

На столе стоял один прибор, на очаге кипел горшок с супом, была полчас кукушка, открывая рот.

– Ну, – сказал развязным тоном доктор, – я пока ничего не вижу.

– Поверните в дверь направо, – прошептал глухо Жакмен.

Последовав указанию арестованного, все очутились в каком-то погребе. Огляделись – из отверстия в углу, откуда-то снизу, пробивался свет.

– Там, там, – прошептал Жакмен, вцепившись в руку Ледрю и указывая на отверстие.

– А-а, – шепнул доктор полицейскому комиссару со страшной улыбкой человека, на которого ничто не производит впечатления, потому что он ни во что не верит, – кажется, мадам Жакмен последовала заповеди Адама.

И он стал напевать:

Умру, меня похороните,
В погреб, где...

– Тише! – перебил Жакмен. Лицо его покрылось смертельной бледностью, волосы встали дыбом, лоб вспотел. – Не пойте здесь!

Пораженный его голосом, доктор замолчал. И сейчас же, спускаясь по первым ступенькам лестницы, спросил:

– Что это такое?

Он нагнулся и поднял шпагу с длинным, испачканным в крови клинком.

То была шпага, взятая, по словам Жакмена, в Артиллерийском музее 29 июля 1830 года.

Полицейский комиссар взял ее из рук доктора.

– Узнаете эту шпагу? – спросил он арестованного.

– Да, – ответил Жакмен. – Ну, ну, скорее же.

Это была первая улика, на которую наткнулись. Прошли в погреб в том же порядке, как я упомянул выше.

Доктор и полицейский комиссар шли впереди, за ними – Ледрю и Жакмен, потом еще двое лиц, за ними жандармы, потом привилегированные, среди которых находился и я.

Когда я сошел на седьмую ступеньку, мой взор погрузился в темноту погреба, которую постараюсь описать.

Первый предмет, приковавший наши взоры, был труп без головы, лежавший у бочки; кран бочки был наполовину открыт, и из него текла струйка вина и, образовав ручеек, подтекала под доски.

Труп был скрючен, как будто в момент агонии жертва пригнулась, а ноги ее не слушались. Платье с одной стороны приподнято было до подвязки. По-видимому, жертва застигнута была на коленях у бочки, когда она наполняла бутылку, которая выпала у нее из рук и валялась поблизости.

Верхняя часть туловища плавала в крови.

На мешке с гипсом, прислоненном к стене, как бюст на колонне, стояла, вернее, мы догадывались, что она там стояла, голова, утопавшая в волосах; полоса крови окрашивала мешок сверху донизу.

Доктор и полицейский комиссар обошли труп и остановились перед лестницей.

Среди погреба стояли два приятеля Ледрю и несколько любопытных, которые поторопились проникнуть сюда.

Внизу, у лестницы, стоял Жакмен, которого не могли заставить двинуться дальше последней ступеньки. Возле Жакмена топтались два жандарма. Рядом стояло пять или шесть лиц, в числе которых находился и я.

Мрачная внутренность погреба была освещена дрожащим светом свечи, которая была поставлена на ту бочку, откуда текло вино и напротив которой лежал труп жены Жакмена.

– Подайте стол и стул, – распорядился полицейский комиссар и принялся за составление протокола.

III. Протокол

Затребованная мебель была доставлена полицейскому комиссару. Он укрепил стол, уселся перед ним, спросил свечку, которую принес ему доктор; перелезая через труп, вытащил из кармана чернильницу, перья, бумагу и начал составлять протокол.

Пока он заносил предварительные сведения, доктор с любопытством повернулся к голове, поставленной на мешок с гипсом, но комиссар его остановил.

– Не трогайте ничего, – сказал он, – законный порядок прежде всего.

– Верно, – сказал доктор и вернулся на свое место.

В течение нескольких минут царил тишина. Слышен был лишь скрип пера полицейского комиссара по плохой казенной бумаге. Написав несколько строк, он поднял голову и оглянулся.

– Кто будет нашими свидетелями? – спросил полицейский комиссар у мэра.

– Прежде всего эти два господина, – указал Ледрю на стоявших возле полицейского комиссара двух приятелей.

– Хорошо.

Мэр повернулся ко мне:

– Затем вот этот господин, если он не возражает, что его имя будет фигурировать в протоколе.

– Нисколько, сударь, – отвечал я.

– Итак, пожалуйста сюда, – сказал полицейский комиссар.

Я чувствовал отвращение, подходя к трупу. С того места, где я находился, некоторые подробности казались менее отвратительными, они как бы скрывались в полумраке, и над ужасом витал покров чего-то романтического.

– Это необходимо? – спросил я.

– Что?

– Чтобы я сошел вниз?

– Нет. Оставайтесь там, если вам это удобнее.

Я кивнул, как бы говоря: я желаю остаться там, где нахожусь.

Полицейский комиссар повернулся к двум приятелям Ледрю, которые стояли около него.

– Ваше имя, отчество, возраст, звание, занятие и местожительство? – спросил он скороговоркою человека, привыкшего задавать подобные вопросы.

– Жак Людовик Аллиет, – ответил тот, к кому он обратился, – журналист, живу на улице Ансиен-Комеди, 20.

– Вы забыли указать ваш возраст, – напомнил полицейский комиссар.

– Надо сказать, сколько мне лет в действительности или сколько дают на вид?

– Укажите ваш возраст, черт возьми! Нельзя же иметь два возраста!

– Да ведь, господин комиссар, существовали Калиостро, граф Сен-Жермен, Вечный Жид, например...

– Вы хотите сказать, что вы Калиостро, граф Сен-Жермен или Вечный Жид? – сказал, нахмурившись, комиссар, полагая, что над ним смеются.

– Нет, но...

– Семьдесят пять лет, – уточнил Ледрю, – пишите: семьдесят пять лет, господин Кузен.

– Хорошо, – кивнул полицейский комиссар и записал.

– А вы, сударь? – обратился он ко второму приятелю Ледрю и повторил все те вопросы, которые предлагал первому господину.

– Пьер Жозеф Мулль, шестидесяти одного года, духовное лицо при церкви Сен-Сюльпис, место жительства – улица Сервандони, одиннадцать, – ответил мягким голосом тот, кого он спрашивал.

– А вы, сударь? – спросил он, обращаясь ко мне.

– Александр Дюма, драматический писатель, двадцати семи лет, живу в Париже, на Университетской улице, двадцать один, – ответил я.

Ледрю повернулся в мою сторону и приветливо кивнул мне; я ответил тем же.

– Хорошо, – сказал полицейский комиссар. – Так вот, выслушайте, милостивые государи, и сделайте ваши замечания, если таковые имеются. – И носовым монотонным голосом, свойственным чиновникам, он прочел:

– «Сегодня, 1 сентября 1831 года, в два часа пополудни, будучи уведомлены, что совершено преступление в общине Фонтенэ, убита Мария Жанна Дюкузрэ ее мужем Пьером Жакменом, и что убийца отправился в квартиру господина Жан-Пьера Ледрю, мэра вышеименованной общины Фонтенэ, и заявил по собственному побуждению, что он совершил преступление, мы лично отправились в квартиру вышеупомянутого Жан-Пьера Ледрю, на улицу Дианы, 2. В эту квартиру мы прибыли в сопровождении господина Себастьяна Робера, доктора медицины, живущего в общине Фонтенэ, и нашли там уже арестованного жандармами упомянутого Пьера Жакмена, который повторил в нашем присутствии, что он убийца своей жены;

затем мы принудили его последовать за нами в дом, где совершено преступление. Сначала он отказывался следовать за нами, но вскоре уступил настоянию господина мэра, и мы направились в переулок Сержан, где находится дом, в котором живет господин Пьер Жакмен. Придя в дом и заперев дверь, дабы помешать проникнуть толпе, мы вошли в первую комнату, где ничто не указывало на совершенное преступление. Затем по приглашению вышеупомянутого Жакмена из первой комнаты перешли во вторую, в углу которой обнаружили лестницу. Когда нам указали, что эта лестница ведет в погреб, где мы должны найти труп жертвы, мы начали спускаться, и на первых же ступенях доктор нашел шпагу с рукояткой в виде креста и с большим острым лезвием. Вышеупомянутый Жакмен показал, что он взял ее во время июльской революции в Артиллерийском музее и воспользовался ею для совершения преступления.

На полу погреба найдено тело жены Жакмена, опрокинутое на спину и плавающее в крови. Голова отделена от туловища и положена направо на мешок с гипсом, прислоненный к стене. Вышеупомянутый Жакмен признал, что этот труп и голова есть труп и голова его жены, в присутствии господина Жан-Пьера Ледрю, мэра общины Фонтенэ, господина Себастьяна Робера, доктора медицины, проживающего в Фонтенэ, господина Жана Луи Аллиста, журналиста, семидесяти пяти лет, проживающего в Париже, по улице Ансиен-Комеди, 20, господина Пьера Жозефа Мулля, шестидесяти одного года, духовного лица при Сен-Сюльпис, проживающего в Париже, по улице Сервандони, 11, господина Александра Дюма, драматического писателя, двадцати семи лет, проживающего в Париже, по Университетской улице, 21. После этого мы приступили к допросу обвиняемого».

– Так ли изложено, милостивые государи? – спросил полицейский комиссар, обращаясь к нам с очевидным самодовольством.

– Вполне, милостивый государь, – ответили мы в один голос.

– Ну что же, будем допрашивать обвиняемого.

И он обратился к арестованному, который во все время чтения протокола тяжело дышал и находился в ужасном состоянии.

– Обвиняемый, – сказал он, – ваше имя, отчество, возраст, местожительство и занятие.

– Долго еще это продлится? – спросил арестованный, как бы в полном изнеможении.

– Отвечайте: ваше имя и отчество?

– Пьер Жакмен.

– Ваш возраст?

– Сорок один год.

– Ваше местожительство?

– Переулок Сержан.

– Ваше занятие?

– Каменотес.

– Признаете ли вы, что совершили преступление?

– Да.

– Объясните, по какой причине вы совершили преступление и при каких обстоятельствах?

– Объяснять причину, почему я совершил преступление, бессмысленно, – сказал Жакмен, – это тайна моя и той, которая там.

– Однако нет действия без причины.

– Причины, я говорю вам, вы не узнаете. Что же касается обстоятельств, то вы желаете их знать?

– Да.

– Ну, я расскажу вам о них. Когда работаешь под землей, как мы, впотьмах и когда у вас горе, вам в голову поневоле лезут дурные мысли.

– Ого, – прервал его полицейский комиссар, – вы признаете предумышленность совершенного преступления?

– Э, конечно, раз я признаюсь во всем. Разве этого мало?

– Вполне достаточно. Продолжайте.

– Мне пришла в голову дурная мысль – убить Жанну. Уже целый месяц смущала она меня, чувство мешало рассудку, наконец, одно слово товарища заставило меня решиться.

– Какое слово?

– О, это не ваше дело. Утром я сказал Жанне, что не пойду сегодня на работу: погуляю по-праздничному, поиграю в кегли с товарищами. «Приготовь обед к часу. Но... ладно... без разговоров. Слышишь, чтобы обед был готов к часу...» – «Хорошо», – сказала Жанна и отправилась за провизией.

Я же вместо того, чтобы пойти играть в кегли, взял шпагу, которая теперь у вас. Наточил я ее сам на точильном камне, спустился в погреб, спрятался за бочку и сказал себе: она сойдет в погреб за вином, вот тогда и увидим. Сколько времени я сидел, скорчившись за бочкой, которая лежит вот тут, направо, не знаю; меня била лихорадка, сердце стучало, и в темноте передо мною носились красные круги. И я слышал голос, повторивший слово, то слово, которое вчера сказал мне товарищ.

– Но что же это, наконец, за слово? – настаивал полицейский комиссар.

– Бесполезно об этом спрашивать! Я уже сказал вам, что вы никогда его не узнаете...

Наконец я услышал шорох платья, шаги приближались. Вижу, мерцает свеча; вижу, спускается нижняя часть тела, верхняя, потом ее голова... Я хорошо ее видел... Она держала

свечу в руке. «А, ладно», – сказал я и шепотом повторил слово, которое мне сказал товарищ. В это время Жанна подходила. Честное слово! Она как будто предчувствовала, что готовится что-то дурное для нее. Она боялась. Она оглядывалась по сторонам, но я хорошо спрятался, я не шевелился. Она стала на колени перед бочкой, поднесла бутылку и повернула кран.

Тогда я приподнялся. Вы понимаете: она стояла на коленях. Шум вина, лившегося в бутылку, мешал ей слышать производимый мною шум. Да я и не шумел. Она стояла на коленях, как виноватая, как осужденная. Я поднял шпагу, и – не помню, испустила ли она крик, – голова покатилась. В эту минуту я не хотел умирать, я хотел спастись. Я намеревался вырыть яму и похоронить ее. Я бросился к голове, она катилась, и туловище также подскочило. У меня заготовлен был мешок гипса, чтобы скрыть следы крови. Я взял голову или, вернее, голова заставила меня себя взять. Смотрите! – Он показал на правой руке большой укус, обезобразивший большой палец.

– Как? Голова, которую вы взяли... Что вы, черт возьми, там городите?

– Я говорю, она меня укусила своими прекрасными зубами, как видите. Я говорю вам, она меня не отпускала. Я поставил ее на мешок с гипсом, я прислонил ее к стене левой рукой, стараясь вырвать правую, но через минуту зубы сами разжались. Я вытащил наконец руку, но мне показалось (может быть, это безумие), что голова жива. Глаза были широко раскрыты – я хорошо это видел: свеча стояла на бочке. А затем губы *пошевелились и произнесли: «Негодяй, я была невинна»!*

Не знаю, какое впечатление это произвело на других, но что касается меня, то у меня пот струился со лба.

– А уж это чересчур! – воскликнул доктор. – Глаза на тебя смотрели, губы говорили?

– Слушайте, господин доктор, так как вы врач, то ни во что не верите, это естественно, но я вам говорю, что голова, которую вы видите там... Слышите, я говорю вам, что она укусила меня и сказала: *«Негодяй, я была невинна»!* А доказательство того, что она мне это сказала, в том, что я хотел убежать, убив ее. Не правда ли, Жанна? И вместо того, чтобы спастись, я побежал к господину мэру и во всем сознался. Правда, господин мэр, ведь правда? Отвечайте!

– Да, Жакмен, – отвечал Ледрю тоном, в котором звучала доброта. – Да, правда.

– Осмотрите голову, доктор, – сказал полицейский комиссар.

– Когда я уйду, господин Робер, когда я уйду?! – закричал Жакмен.

– Что же ты, дурак, боишься, что она опять заговорит с тобой? – спросил доктор, взяв свечу и подходя к мешку с гипсом.

– Господин Ледрю, ради бога! – попросил Жакмен. – Скажите, чтобы они отпустили меня, прошу вас, умоляю вас.

– Господа, – сказал мэр, жестом останавливая доктора, – вам уже не о чем расспрашивать этого несчастного, так позвольте отвести его в тюрьму. Когда закон установил очную ставку, то предполагалось, что обвиняемый в состоянии таковую вынести.

– А протокол? – спросил полицейский комиссар.

– Он почти кончен.

– Надо, чтобы обвиняемый его подписал.

– Он его подпишет в тюрьме.

– Да, да! – воскликнул Жакмен. – В тюрьме я подпишу все, что вам угодно.

– Хорошо, – согласился полицейский комиссар.

– Жандармы, уведите этого человека! – приказал Ледрю.

– О, благодарю вас, господин Ледрю, благодарю, – произнес Жакмен с выражением глубокой благодарности и, подхватив под руки жандармов, он со сверхъестественной силой потащил их вверх по лестнице.

Человек ушел, и драма ушла вместе с ним. В погребке остались ужасные предметы: труп без головы и голова без туловища.

Я нагнулся, в свою очередь, к Ледрю.

– Милостивый государь, – сказал я, – могу я уйти?

– Да, милостивый государь, но с условием.

– Каким?

– Вы придете ко мне подписать протокол.

– С удовольствием, милостивый государь, но когда?

– Приблизительно через час. Я покажу вам мой дом, когда-то он принадлежал Скаррону, вас это заинтересует.

– Через час, милостивый государь, я буду у вас.

Я поклонился, поднялся по лестнице и с последней ступеньки оглянулся.

Доктор со свечой в руке отстранял волосы от лица. Это была еще красивая женщина, насколько можно было заметить, так как глаза были закрыты, губы сжаты и уже посинели.

– Вот дурак Жакмен! – сказал доктор. – Уверяет, что отсеченная голова может говорить! Может быть, он все выдумал, чтобы его приняли за сумасшедшего. Недурно: будут смягчающие обстоятельства.

IV. Дом Скаррона

Через час я был у Ледрю, встретил я его во дворе.

– А, – сказал он, увидев меня, – вот и вы! Прекрасно, очень рад поговорить с вами. Я познакомлю вас со своими приятелями. Вы обедаете с нами, конечно?

– Но, сударь, вы меня извините...

– Не принимаю извинений. Вы попали ко мне в четверг, тем хуже для вас: четверг – мой день; все, кто является ко мне в четверг, принадлежат мне. После обеда вы можете остаться или уйти. Если бы не событие, случившееся только что, вы бы меня нашли за обедом, я всегда обедаю в два часа. Сегодня, как исключение, мы пообедаем в половине четвертого или в четыре. Пирр, которого вы видите, – указал Ледрю на прекрасного дворового пса, – воспользовался волнением тетушки Антуан и съел у нее баранью ногу, так что ей пришлось покупать у мясника другую. Я успею не только познакомить вас со своими приятелями, но и сообщить вам кое-какие сведения о них.

– Какие сведения?

– Да ведь относительно некоторых личностей, таких, например, как Севильский цирюльник, или Фигаро, необходимо дать кое-какие пояснения об их костюме и характере. Но мы с вами начнем с дома.

– Вы мне, кажется, сказали, сударь, что он принадлежал Скаррону?

– Да, здесь будущая супруга Людовика XIV раньше, чем развлекать человека, которого трудно было развлечь, ухаживала за бедным калекой, своим первым мужем. Вы увидите ее комнату.

– Комнату мадам Ментенон?

– Нет, мадам Скаррон. Не будем смешивать: комната мадам Ментенон находится в Версале или в Сен-Сире. Пойдемте.

Мы пошли по большой лестнице и вошли в коридор, выходящий во двор.

– Вот, – сказал мне Ледрю, – это вас касается, господин поэт. Вот самый высокий слог, каким говорили в тысяча шестьсот пятидесятом году.

– А-а! Карта Нежности!

– Дорога туда и обратно начерчена Скарроном, а заметки сделаны рукой его жены.

Действительно, в простенках помещались две карты. Они были начерчены пером на большом листе бумаги, наклеенном на картон.

– Видите, – продолжал Ледрю, – эту синюю змею? Это река Нежности; эти маленькие голубятни – это деревни: Ухаживания, Записочки, Тайна. Вот гостиница Желания, долина Наслаждений, мост Вздохов, лес Ревности, населенный чудовищами, подобными Армиду. Наконец, среди озера, в котором берет начало река, дворец Полное Довольство: конец путешествию, цель всего пути.

– Черт возьми! Что я вижу – вулкан?

– Да, он иногда разрушает страну. Это вулкан страстей.

– Его нет на карте мадемуазель де Скюдери?

– Нет. Это изобретение мадам Скаррон.

– А другая?

– Это возвращение. Видите, река вышла из берегов: она наполнилась слезами тех, кто идет по берегу. Вот деревни Скуки, гостиница Сожалений, остров Раскаяния. Это очень остроумно.

– Вы позволите мне срисовать?

– Ах, пожалуйста. Теперь пойдемте в комнату мадам Скаррон?

– Пожалуйста!

– Вот сюда.

Ледрю открыл дверь и пропустил меня вперед.

– Теперь это моя комната. Если не считать книг, которыми она завалена, все сохранилось в том же виде, как при знаменитой хозяйке: тот же альков, та же кровать, та же мебель; эти уборные принадлежали ей.

– А комната Скаррона?

– О, комната Скаррона находилась на другом конце коридора. Ее вы уже не увидите, туда нельзя войти: это секретная комната, комната Синей Бороды.

– Черт возьми!

– Да, у меня есть тайны, хотя я и мэр. Пойдемте, я покажу вам нечто другое.

Ледрю пошел вперед; мы спустились по лестнице и вошли в гостиную.

Как все в этом доме, гостиная носила особый отпечаток. Обои были такого цвета, что трудно было определить их прежний цвет; вдоль стены стоял двойной ряд кресел и ряд стульев со старинной обивкой; затем расставлены были карточные столы и маленькие столики; среди всего этого, как Левиафан среди рыб, возвышался гигантский письменный стол, занимавший треть гостиной; стол был завален всевозможными книгами, брошюрами, газетами, среди которых особое место занимала любимая газета Ледрю «Конститусьонель».

В гостиной никого не было – гости гуляли в саду, который виден был из окон на всем его протяжении.

Ледрю подошел к столу, открыл громадный ящик, в котором хранилось множество маленьких пакетиков, наподобие пакетиков с семенами. Все предметы в ящике завернуты были в бумажки с ярлычками.

– Вот, – сказал он мне, – для вас, историка, нечто поинтереснее карты Нежности. Это коллекция мощей, но не святых, а королевских.

Действительно, в каждой бумажке хранились кость, волосы, борода. Там были: коленная чашка Карла IX, большой палец Франциска I, кусок черепа Людовика XIV, ребро Генриха II, позвонок Людовика XV, борода Генриха IV и волосы Людовика XVI.

Ту т от каждого короля была кость, из всех костей можно было бы составить скелет французской монархии, которой давно уже не хватает главного остова. Кроме того, тут был зуб Абельяра и зуб Элоизы – два белых резца. Быть может, когда-то, когда их покрывали дрожащие губы, они встречались в поцелуе? Откуда эти кости?

Ледрю присутствовал, когда вырывали из могилы королей в Сен-Дени, и взял из каждой могилы то, что ему понравилось.

Ледрю предоставил мне время удовлетворить любопытство; затем, увидя, что я уже пересмотрел все ярлычки, сказал:

– Ну, довольно заниматься мертвыми, перейдем к живым.

Он подвел меня к одному из окон, откуда виден был весь сад.

– У вас чудный сад, – сказал я.

– Сад священника, с липами, георгинами, розовыми кустами, виноградником, шпалерными персиками и абрикосами. Вы все потом увидите, а теперь займемся теми, кто в нем гуляет.

– Скажите, пожалуйста, что это за господин Аллиет, который спросил, хотят ли знать его настоящий возраст или только тот, какой ему можно дать? Мне кажется, ему и можно дать семьдесят пять лет.

– Именно, – ответил Ледрю. – Я хотел с него начать. Вы читали Гофмана?

– Да. А что?

– Ну, так вот, это гофмановский тип. Он тратит свою жизнь на то, чтобы по картам и по числам отгадывать будущее; все, что он получает, он тратит на лотерею. Он однажды выиграл на три билета подряд и с тех пор никогда не выигрывал. Он знал Калиостро и графа

Сен-Жермена; он считает себя сродни им и знает, как и они, секрет долголетия. Его настоящий возраст, если вы его спросите, двести семьдесят пять лет: он жил раньше сто лет без болезней в царствование Генриха II и в царствование Людовика XIV; затем, обладая секретом, он хотя и умер на глазах смертных, но испытал три превращения, длившихся пятьдесят лет каждое. Теперь он начинает четвертое, и ему поэтому двадцать пять лет. Двести пятьдесят предыдущих лет остались у него лишь в памяти. Он громко заявляет, что будет жить до последнего суда. В пятнадцатом столетии Аллиет был бы сожжен, и конечно же, напрасно; теперь его жалеют, и это тоже напрасно. Аллиет – самый счастливый человек на свете: он интересуется только игрой и гаданием на картах, колдовством, египетскими науками да знаменитыми таинствами Изида. Он печатает по этим вопросам книжечки, которых никто не читает, а между тем издатель, такой же маньяк, как и он, издает их под псевдонимом; у него шляпа всегда набита брошюрами. Вот, посмотрите, он держит ее под мышкой, поскольку боится, что кто-нибудь возьмет его драгоценные книжки. Посмотрите на человека, посмотрите на одежду, и вы увидите, какие природа дает сочетания; как именно эта шляпа подходит к голове, а человек к шляпе, как трико обтягивает формы, как выражаетесь вы, романтики.

И действительно, все так и было. Я смотрел на Аллиета. Он был одет в засаленное платье, изношенное, запыленное, все в пятнах; его шляпа с блестящими полями, как бы из лакированной кожи, как-то несоразмерно расширялась вверх; на нем были штаны из черного ратине, рыжие чулки и башмаки с закругленными носками, как у тех королей, в царствование которых он, по его словам, родился.

Он был толст, коренаст, с лицом сфинкса, с красными прожилками, с громадным беззубым ртом, с большой глоткой, с жидкими, длинными, рыжими волосами, развевавшимися в виде ореола вокруг головы.

– Он говорит с аббатом Муллем, – сказал я Ледрю. – Он сопровождал нас в нашей экспедиции сегодня утром. Мы еще поговорим об этой экспедиции, не правда ли?

– А почему? – спросил Ледрю, глядя на меня с любопытством.

– Потому что, извините, пожалуйста, мне показалось, вы допускали возможность, что эта голова могла говорить.

– Вы, однако, физиономист. Ну да, конечно, я верю этому, и мы об этом еще поговорим. Впрочем, если вы интересуетесь подобными историями, то здесь найдете с кем об этом поговорить. Перейдемте к аббату Муллю.

– Должно быть, – прервал я его, – это очень общительный человек. Меня поразила мягкость его голоса, с какой он отвечал на вопросы полицейского комиссара.

– Ну и на этот раз вы хорошо определили. Муль – мой друг уже в течение сорока лет, а ему теперь шестьдесят; посмотрите, он настолько чист и аккуратен, насколько Аллиет грязен и засален. Это светский человек, когда-то его принимали в Сен-Жерменском предместье. Это он венчал сыновей и дочерей пэров Франции; свадьбы эти давали ему возможность произносить маленькие проповеди, которые брачащиеся стороны печатали и старательно сохраняли в семье. Он чуть было не стал епископом в Клермоне. Знаете, почему не стал? Он был когда-то другом Казотта, и, как Казотт, он верит в существование высших и низших духов, добрых и злых гениев, собирает коллекцию книг, как и Аллиет. У него вы найдете все, что написано о призраках, о привидениях, духах, выходах с того света.

Говорит он редко, и только с друзьями, о вещах не вполне ортодоксальных, но он убежден и очень сдержан; все, что происходит в свете, он приписывает вмешательству ада либо небесных сил.

Смотрите, он молча слушает все, что говорит ему Аллиет, он, кажется, рассматривает какой-то предмет, которого не видит его собеседник, и отвечает ему время от времени или движением губ, или кивком головы. Иногда он впадает в мрачную меланхолию, вздрагивает, поворачивает голову, ходит взад-вперед по гостиной. В этих случаях его лучше оставить в

покое: будить его просто опасно; я говорю, будить, так как, по-моему, он тогда пребывает в состоянии сомнамбулизма. К тому же, он сам просыпается, и вы увидите, какое это милое пробуждение.

– О, скажите, пожалуйста, – обратился я к Ледрю, – мне кажется, он вызвал одного из тех призраков, о которых вы только что говорили?

И я показал пальцем моему хозяину настоящий странствующий призрак, присоединившийся к двум собеседникам. Он осторожно ступал по цветам и, мне казалось, шагал по ним, не измяв ни одного.

– Это также один из моих приятелей, кавалер Ленуар...

– Основатель музея Пети-Огюстен?

– Он самый. Он смертельно огорчен, что его музей разорен; его десять раз чуть не убили за этот музей, в девяносто втором и девяносто четвертом годах. Во время Реставрации музей закрыли и приказали возратить все памятники в те здания, в которых они раньше находились, и тем семьям, которые имели на них право.

К сожалению, большая часть памятников была уничтожена, большая часть семей вымерла, и самые интересные обломки нашей древней скульптуры и нашей истории были разбросаны, погибли. Вот так и исчезает все в нашей старой Франции: сначала останутся эти обломки, потом и от этих обломков ничего не останется. А кто же все это разрушает?! Именно те, в интересах которых и следовало бы сохранять.

И Ледрю, несмотря на свой либерализм, вздохнул.

– И это все ваши приятели? – спросил я его.

– Может быть, еще придет доктор Робер. Я вам о нем не говорю, полагаю, вы уже составили себе о нем мнение. Это человек, проделывавший всю жизнь опыты над живыми людьми, будто над манекенами, забывая при этом, что у них есть душа, чтобы страдать, и нервы, чтобы чувствовать. Этот любящий пожить человек многих отправил на тот свет, но, к своему счастью, он не верит в выходцев с того света. Посредственный ум, мнящий себя остроумным, потому что всегда шумит, философ, потому что атеист; он один из тех людей, которого принимают, потому что он сам к вам приходит. Вам же не придет в голову идти к ним.

– О, сударь, мне знакомы такие люди!

– Должен был прийти еще один мой приятель. Он моложе Аллиета, аббата Мулля и кавалера Ленуара, но, как Аллиет, увлекается гаданием на картах, как Мулля, верит в духов и, как кавалер Ленуар, увлекается древностями; ходячая библиотека – каталог, переплетенный в кожу христианина. Вы, должно быть, его не знаете?

– Библиофил Жакоб?

– Именно.

– И он не придет?

– Он не пришел еще; он знает, что мы обыкновенно обедаем в два часа, а теперь четыре часа. Вряд ли он явится. Он, верно, разыскивает какую-нибудь книжечку, напечатанную в Амстердаме в 1570 году, первое издание с тремя типографскими опечатками: на первом листе, на седьмом и на последнем.

В эту минуту дверь отворилась, и вошла тетка Антуан.

«Сударь, кушать подано», – объявила она.

– Пойдемте, господа, – сказал Ледрю, открыв, в свою очередь, дверь в сад. – Кушать, пожалуйста, кушать!

А затем повернулся ко мне:

– Где-то в саду ходит, кроме гостей, о которых я вам все рассказал, еще один гость, которого вы не видели и о котором я вам не говорил. Этот гость не от мира сего, чтобы откликнуться на грубый зов, обращенный к моим приятелям, на который они сейчас же отклик-

нулись. Ваша задача – отыскать нечто невещественное, прозрачное видение, как говорят немцы. Если найдете искомое, назовите себя, постарайтесь внушить, что иногда нелишне поесть, хотя бы для того, чтобы жить, предложите вашу руку и приведите к нам.

Я послушался Ледрю, догадываясь, что этот милый человек, которого я вполне оценил в эти несколько минут, готовит мне приятный сюрприз, и пошел в сад, оглядываясь по сторонам.

Мои поиски были непродолжительны. Вскоре я увидел то, что искал.

То была женщина. Она сидела под липами; я не видел ни лица ее, ни фигуры, потому что лицо ее обращено было в сторону поля и она была закутана в большую шаль.

Она была одета в черное.

Я подошел к ней – она не двигалась. Она будто не слышала шума моих шагов. Она напоминала мне статую, хотя все в ней казалось грациозным и полным достоинства.

Издали я видел, что это блондинка. Луч солнца, проникая через листву лип, сверкал в ее волосах, и они отливали золотом. Вблизи я заметил тонкость волос, которые могли соперничать с золотистыми нитями паутины, какие первые ветры осени поднимают и носят по воздуху; ее шея, может быть, немного длинная, – очаровательное преувеличение почти всегда подчеркивает красоту, – грациозно сгибалась, голову она подпирала правой рукой, локоть которой лежал на спинке стула; левая рука повисла, и в ней была белая роза, лепестки которой она перебирала. Гибкая шея, как у лебедя, согнутая, опущенная рука – все было матовой белизны, как паросский мрамор без жилок на поверхности, без пульса внутри; увядшая роза казалась более окрашенной и живой, чем рука, в которой она находилась. Я смотрел на эту женщину, и чем дольше это длилось, тем меньше она казалась мне живым существом. Я даже сомневался, сможет ли она обернуться ко мне, если я заговорю. Два или три раза я открывал было рот и закрывал его, не произнося ни слова. Наконец, решившись, я окликнул ее:

– Сударыня!

Она вздрогнула, обернулась, посмотрела с удивлением, как бы возвращаясь из мира мечты и воспоминаний. Ее черные глаза, устремленные на меня, в сочетании со светлыми волосами, которые я описал (брови у нее были тоже черные), придавали ей странный вид.

Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга.

Женщине этой было года тридцать два или тридцать три; она была чудной красоты, если бы щеки ее не были так худы и цвет лица не был так бледен; хотя она и теперь казалась мне красивой, с ее лицом, перламутровым, одного оттенка с рукой, без малейшей краски; ее глаза казались черными как смоль, а губы коралловыми.

– Сударыня, – повторил я, – господин Ледрю полагает, что, если я скажу, что я автор «Генриха III», «Христины» и «Антони», вы позволите мне отрекомендоваться вам, предложить руку и проводить вас в столовую.

– Извините, сударь, – сказала она, – вы только что подошли, не правда ли? Я чувствовала, что вы подходите, но не могла обернуться; со мною так бывает, иногда я не могу повернуться. Ваш голос нарушил очарование. Дайте руку, пойдемте.

Она встала и взяла меня под руку, но я не чувствовал прикосновения ее руки, как будто тень шла рядом со мною.

Мы пришли в столовую, так и не сказав друг другу ни слова.

Два прибора были оставлены за столом: один для нее – направо от Ледрю, другой для меня – напротив нее.

V. Пощечина Шарлотте Корде

Этот стол, как и все у Ледрю, был особенный. Большой стол имел форму подковы, придвинут был к окнам, выходившим в сад, и оставлял свободными три четверти громадной залы. За столом можно было усадить без затруднений человек двадцать; обедали всегда за ним, – все равно, был ли у Ледрю один гость, было ли их два, четыре, десять, двадцать или он обедал один. В этот день нас обедало десять человек, и мы едва занимали треть стола.

Каждый четверг подавался один и тот же обед.

Ледрю полагал, что за истекшую неделю его гости ели другие кушанья дома или в гостях, куда их приглашали, поэтому у него по четвергам всегда подавали суп, мясо, курицу с эстрагоном, баранью ногу, бобы и салат. Число куриц увеличивалось пропорционально количеству гостей.

Мало было гостей или много, Ледрю всегда усаживался на конце стола спиною к саду, лицом ко двору. Вот уже десять лет сидел он на этом месте в большом кресле с резьбой и в течение десяти лет получал из рук садовника Антуана, превращавшегося по четвергам из садовника в лакея, кроме простого вина несколько бутылок старого бургундского. Подносились ему вино с благоговейной почтительностью; он откупоривал бутылку и угощал гостей с тем же почтительным, благоговейным чувством.

Восемнадцать лет назад кое во что еще верили; через десять лет не будут верить ни во что, даже в старое вино.

Обед прошел, как проходит всякий обед: хвалили кухарку, расхваливали вино.

Молодая женщина ела только крошки хлеба, пила воду и не произнесла ни слова. Она напоминала мне ту обжору из *«Тысячи и одной ночи»*, которая садилась за стол с другими и ела несколько зернышек риса зубочисткой.

После обеда по установившемуся обычаю перешли в гостиную пить кофе. Мне, конечно, пришлось вести под руку молчаливую гостью. Она сама подошла ко мне, чтобы опереться о мою руку. Та же мягкость в движениях, та же грация в осанке – точнее, та же легкость в членах.

Я подвел ее к креслу, в которое она улеглась.

Во время нашего обеда два лица введены были в гостиную – доктор и полицейский комиссар. Последний явился, чтобы дать нам подписать протокол, который Жакмен уже написал в тюрьме.

Маленькое пятно крови заметно было на бумаге, и я, подписывая, спросил:

– Что это за пятно? Кровь мужа или жены?

– Это кровь из раны, которая обнаружилась на руке убийцы. Ее никак не могли остановить.

– Знаете что, господин Ледрю, – сказал доктор, – эта скотина настаивает, что голова его жены говорила!

– Вы полагаете, что это невозможно, доктор?

– Черт возьми!

– Вы считаете неправдоподобным то, что она открывала глаза?

– Я считал это невозможным.

– Вы не допускаете, что кровь, остановившись от слоя гипса, закупорившего все артерии и вены, могла вернуть на одно мгновение жизненный импульс и чувствительность этой голове?

– Я этого не допускаю.

– А я, – сказал Ледрю, – верю в это.

– И я также, – сказал Аллиет.

– И я также, – сказал аббат Мулль.

– И я также, – сказал кавалер Ленуар.

– И я также, – сказал я.

Полицейский комиссар и бледная дама не сказали ничего: их это не интересовало.

– А, вы все против меня. Вот если бы кто-либо из вас был врачом...

– Но, доктор, – возразил Ледрю, – вы знаете, что я отчасти врач.

– В таком случае, – сказал доктор, – вы должны узнать, что там, где утрачена чувствительность, нет и страдания, а чувствительность прекращается при рассечении позвоночного столба.

– А кто вам это сказал? – спросил Ледрю.

– Рассудок, черт возьми!

– О, прекрасный ответ! Рассудок подсказал судьям, которые осудили Галилея, что Солнце вращается вокруг Земли, а Земля неподвижна? Рассудок доводит до глупости, мой милый доктор. Вы делали опыты над отрезанными головами?

– Нет, никогда.

– Читали вы диссертацию Соммеринга? Читали протокол доктора Сю? Читали заявление Эльхера?

– Нет.

– Но вы верите Гийотену, что его машина – самый лучший, самый верный и самый скорый и вместе с тем наименее болезненный способ лишения жизни?

– Да, я так думаю.

– Ну! Вы ошибаетесь, мой милый друг, вот и все.

– Например?

– Слушайте, доктор, вы ссылаетесь на науку, и я буду говорить вам о науке. Поверьте, все мы знаем по этому предмету столько, что можем принять участие в беседе.

Доктор сделал жест, выражающий сомнение.

– Ну, ладно, вы потом и сами это поймете.

Мы все подошли к Ледрю, и я, в свою очередь, стал жадно прислушиваться. Вопрос о казни посредством веревки, меча или яда меня всегда очень интересовал, как и вопросы милосердия.

Я самостоятельно занимался исследованиями страданий, предшествующих смерти разного рода, сопутствующих им и следующих за ними.

– Хорошо, говорите, – сказал доктор недоверчивым тоном.

– Это легко доказать всякому, у кого есть хотя бы малейшие представления о жизненных функциях нашего тела, – продолжал Ледрю. – Чувствительность не уничтожается казнью, и мое предположение, доктор, опирается не на гипотезы, а на факты.

– Укажите-ка эти факты...

– Вот они. Во-первых, центр ощущений находится в мозгу, не правда ли?

– Вероятно.

– Проявления чувствительности могут ведь иметь место и при остановке кровообращения в мозгу, или при временном его ослаблении, или при частичном его нарушении.

– Возможно.

– Если же центр чувствительности находится в мозгу, то казненный должен осознавать себя до тех пор, пока мозг сохраняет свою жизненную силу.

– А какие доказательства?

– Да вот, Галлер в своих «Элементах физики», том четвертый, страница тридцать пятая, говорит: «Отсеченная голова открыла глаза и смотрела на меня сбоку, потому что я тронул пальцем спинной мозг».

– Но ведь Галлер мог ошибаться.

– Хорошо, допустим, что он ошибался. Другой пример: на странице двести двадцать шестой Вейкард в «Философских искусствах» говорит: «Я видел, как шевелились губы человека, голова которого была отсечена».

– Хорошо-с, но шевелиться, чтобы говорить...

– Подождите, мы дойдем до этого. Вот, можете поискать у Соммеринга. Он говорит: «Некоторые доктора, мои коллеги, уверяли меня, что голова, отсеченная от туловища, скрежетала от боли зубами, и я убежден, что, если бы воздух циркулировал еще в органах речи, *голова бы заговорила*». Итак, доктор, – продолжал, бледнея, Ледрю, – я иду дальше Соммеринга: голова мне говорила. Слышите – мне.

Мы все вздрогнули. Бледная дама приподнялась в своем кресле:

– Вам?

– Да, мне. Скажете, что я сумасшедший?

– Черт возьми! – воскликнул доктор. – Если вы уверяете, что вам самому...

– Говорю же вам, что это случилось со мной самим. Вы слишком вежливы, доктор, не правда ли, чтобы сказать мне во весь голос, что я сумасшедший, но вы скажете это про себя, а это ведь решительно все равно.

– Ну хорошо, продолжайте, – сказал доктор.

– Вам легко это говорить. А знаете ли вы, что то, о чем вы просите меня рассказать, я никому не рассказывал в течение тридцати семи лет с тех пор, как это со мной случилось; знаете ли вы, что я не ручаюсь за то, что не упаду в обморок, когда буду рассказывать вам, как эта отсеченная голова заговорила, как устремила на меня, умирая, последний взгляд?

Разговор становился все более и более интересным, а ситуация все более и более драматичной.

– Ну, Ледрю, соберитесь с мужеством, – сказал Аллиет, – расскажите нам об этом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.